

ДАВИД МАРКИШ

ВИНОГРАДНЫЙ ДОМИК

Сборник рассказов

ФТМ

УДК 82/821-821.161.1
ББК 84(2)

**Оригинал-макет книги для PoD-издания
подготовлен ООО «Агентство ФТМ, Лтд.»**

Маркиш, Д.

Виноградный домик. [Сборник]. / Давид Маркиш. — Москва: ООО «Агентство ФТМ, Лтд.», 2023. — 310 с.

ISBN 978-5-4467-3664-5

Русскоязычный израильский прозаик Давид Маркиш — автор двух десятков книг, в которых неразрывно сплетаются русская и еврейская история и культура. Его новый сборник рассказов «Виноградный домик», как рассказывает автор, это «...библейские истории, знакомые каждому читателю — от молодости до старости, от начала и до конца. Библейские персонажи сопровождают нас всю нашу жизнь — хотим мы того или не хотим. Мы пробуем им подражать — примеряем их сандалии на свою ногу и пытаемся препоясаться их боевыми мечами. В одних мы видим героев, а в других — злодеев...» Все мы во что-нибудь верим — в Бога или безбожие, в высокие идеалы или низменные страсти, в капитализм или коммунизм, в правдивую кривду или лживую правду; так устроен человек, и только вера в себя — и есть Судьба. Переступайте порог, дамы и господа! Добро пожаловать в «Виноградный домик»!

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.

ISBN 978-5-4467-3664-5

© Текст. Д. Маркиш, 2023
© ООО «Агентство ФТМ, Лтд.», 2023

НА ПОРОГЕ

Всякий дом начинается с порога. Что может быть проще — переступить порог и войти в Виноградный домик! Этот порог не крут, не высок, перешагнуть его каждому по силам. Я построил этот домик для себя — но и для тех, кто пожелает в него войти. Так будьте же в нём как дома!

Мой домик населён библейскими историями, знакомыми в той или иной мере всякому человеку — от молодости до старости, от начала и до конца. Библейские персонажи сопровождают нас, разумных прямоходящих, всю нашу жизнь — хотим мы того или не хотим. Оглядываясь на них, мы, волей-неволей, пробуем им подражать: примеряем их сандалии на свою ногу и пытаемся препоясаться их боевыми мечами. В одних мы видим героев, а в других — злодеев, которых следует чураться как можно решительней.

Ах, эти дивные истории, пропитанные душистым мёдом воображения! Мой Виноградный домик полон ими, как полновесная гроздь полна солнечными ягодами, и из каждой выплёскиваются, вскипая, человеческие страсти. Истории хрестоматийные, почти окаменевшие, подобно жене Лота, но фантазия писателя разрушает каменную кору ветхих событий и сдабривает их душистыми специями, выращенными на плодородной почве сердца. Вправе ли сочинитель по-своему, с собственным прищуром прочитывать библейские сюжеты и своими словами, отступая от канонического текста, пересказывать их? Мой ответ: да, вправе. Мой пример: Томас Манн и его великая книга «Иосиф и его братья».

В «Виноградном домике» обитают, соседствуя, чуть развенчанные или, напротив, немного приукрашенные Давид и Соломон, красавицы Вирсавия и Суламифь, сочинитель Идо сын-Слова, непреклонный Авраам, и египтянка Агарь, и горемыка Лот. Жизнь была дана им точно так, как и нам, и она сохранилась в них нетронуто: нет ничего более постоянного, чем природа человека. Перенесённые, как с переводных картинок, в наш век и в этот час — и вот они уже осваиваются в нашей среде, рядом с другими обитателями Дома: счастливым Талем, дундуком Марголиным, кроссвордистом Мишей Ройтманом; времена разные, а люди одинаковые. Все мы связаны друг с другом серебряными цепочками, уводящими туда, где Слово когда-то витало над водами.

Обитатели «Виноградного домика» названы и представлены, а под его кровлей остаётся ещё полно места. Переступайте порог, дамы и господа!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ВЕРТИГО

Не возьмусь утверждать, что головокружение неотвязно преследовало Саню Гольдштейна, скрипача, и не отпускало его. Нет, лишь иногда, время от времени, без всякой видимой причины он соскальзывал, как в пропасть, в головокружительную глубь прошлого — там всё было ярко высвечено, и предметы не отбрасывали тени...

С каждым такое случается или, по крайней мере, может случиться. В бескрайности прошлого нас подстерегает немало приключений: там мы встречаемся с самими собою, но в другом обличье. В прошлой жизни мы без тени удивления узнаём себя в облике сластолюбивого Нерона или жалкого раба, ордынского хана Батыя или первого китайского императора. Или льва. Или дерева — тысячелетней оливы в Гефсиманском саду. Многие открываются нам на чисто выметенных солнечным ветром перекрёстках прошлого. Эти замечательные знакомства ни в коем разе не являются искривлением психики или последствием алкогольного перебора. Нет и нет! Явления дальних времён не поддаются внятому истолкованию. Воротившись из запредельного путешествия, странник вдруг непостижимо заговаривает на незнакомом ему ранее языке — французском или даже санскрите. Почему? Как утверждали те же древние римляне: «Не знаем и не узнаем».

Вернувшись в мир обрывдлых реалий, Саня некоторое время сохранял задумчивость, спрашивая себя, кто же он таков — раб,

лев или китаец? Как такое представить и сопоставить? И кем, всё же, быть лучше — Саней Гольдштейном или же благородным оливковым деревом? На этот вопрос нелегко было подыскать однозначный ответ.

Непостижимое занимало в жизни Сани отведённый сегмент, обнесённый забором, за который он заглядывал, но границу которого не переходил: то, что не поддавалось пониманию, не следовало пробовать на зуб. Лев — значит, лев. Китаец — пусть будет китаец. Такие метаморфозы случились когда-то, сомневаться в этом не было веских оснований, как и стоять на том, что ничего такого не состоялось. Может, было, может, не было; никто не знает ничего. Во всяком случае, обсуждать свои эмоции, почерпнутые по ту сторону воображаемой нами реальности, Саня Гольдштейн не собирался ни с кем. Его прошлое было едино и неделимо, оно, как ничто другое во всём белом свете, безраздельно принадлежало лишь ему, ему одному, и он никого из посторонних близко к нему не подпускал. А из этих посторонних и состоял мир, во всём его многомиллиардном поголовье.

Санино прошлое, незахвачанное чужими руками, уходило куда дальше появления его на свет в московском роддоме имени Крупской — ускользало вдаль, в позолоченные библейские дни и ещё глубже, к самому началу времён, если только оно существует в природе и как-либо обозначено. Нить памяти, таким образом, тянулась из расплывчатого Ниоткуда и, легко проходя сквозь слои событий, завязывалась узелком в душе Сани Гольдштейна, собравшегося эмигрировать в Израиль со своей скрипкой и поступить там в филармонический оркестр знаменитого международного маэстро Зубин Меты.

Смена географических поясов прошла для Сани Гольдштейна безболезненно и почти не изменила очертаний его жизни, разве

что музыкальных занятий у него прибавилось — филармонический труд на Святой земле требовал изрядных усилий. Но оставалось время и подумать о необъяснимом.

Библейский край властно подействовал на впечатлительного и чуткого Саню Гольдштейна, музыкального человека. Глядя на великолепный коричнево-зелёный ландшафт, он живо себе представлял наших коренастых пращуров, гонявших своих баранов и козлов по холмам отчизны. Но родными пастухами дело не ограничивалось: на фоне холмов Саня различал правдолюбивых пророков с их сучковатыми посохами, праотцов в окружении детей, внуков и правнуков, зверолюбивого Ноя в его потрясающей лодке — вплоть до простодушного Адама, мирно сидевшего под пальмой, с фиником в руке... Взгляд Сани пробивался и дальше, но там не было ничего, кроме светлой тьмы, полной музыки. А больше ничего.

В этой исторической постановке Саню более всего захватывали два героя: словно бы вытесанный из можжевельового дерева единобожец Авраам и сочинитель Экклезиаст, интеллигент.

Ни с тем, ни с другим Саня Гольдштейн, Боже упаси, себя не олицетворял: они оба были огромны и не вмещались в его представление о собственных ипостасях в запредельном пространстве; их сандалии не пришлось бы ему в пору. Китайский император — да. А эти — нет... Но в своих блужданиях по Запределью он их встречал и, не приближаясь, глядел на них с почтительного расстояния.

Слух о том, что в исполинской тени Экклезиаста скрывается инкогнито царь Соломон, Саня отвергал с негодованием: не царёво это дело — книжки писать. И Песнь песней, и, тем более, Книгу проповедника написал за царские деньги наёмный сочинитель — беспривязный и, всего скорей, пьющий человек, великий писатель. Ему исправно платили за работу и молчание об авторстве — а он взял да развязал язык, и за это был задушен шёлковой дворцовой удавкой, втрое скрученной. Вот как было дело.

Под библейским небом ветхозаветные персонажи окружали Саню Гольдштейна со всех сторон — в базарной толчее, в синагогах и в сельскохозяйственных поселениях. Распевающие псалмы на людных перекрёстках нищие, похожие на пророков, и лжепророки, похожие на голливудских звёзд, смещали ощущение мерцающего времени и погружали зрителей в рисованный мир фантазий. Но нет, не только они: неунывающие хасиды в высоких круглых шапках-штраймл из лисьих хвостов, ешиботники с пейсами по самые плечи, да и поток праздных прохожих, готовых, казалось бы, препоясаться по первому кличу мечом для боя с подступающими когортами Тита Веспасиана или быть разорванными террористической бомбой — все эти горожане принадлежали как бы иному миру, пограничному с нашим.

Отдельно от них, но недалеко, находился Авраам. Первый патриарх, утвердивший единобожие среди облепивших его идолопоклонников — он источал неодолимую силу убеждённости в своей правоте, и дыхание этой силы достигало Сани Гольдштейна, вполне светского музыкального человека с тель-авивской улицы Шенкин. Нетрудно представить, какую мощь набирало это дыхание, обволакивая людей из тесного круга Авраама, из его шатров — чад и домочадцев, слуг и прислужниц. Они, с патриархом во главе, неколебимо стояли против язычников, и это упорное противостояние пульсировало кровью. Осознавая свою избранность как бесценный дар, но и как неподъёмное испытание, Авраам вслушивался в неслышимый никем другим Голос и следовал указанным ему путём. Он был один-одинёшенек на этом заповедном пути, он готов был на любую жертву, чтобы не проявить слабость и с него не свернуть. Самым драгоценным в жизни Авраама был подросток Ицхак, сын его.

С Богом не спорят, с Богом не торгуются: «Ты мне, я — Тебе». Богу подчиняются. Расслышав Голос, повелевающий принести Ицхака в жертву, Авраам повиновался, не колеблясь. Он не зада-

вался вопросом, зачем Единственному понадобилась жизнь Ицхака — человеку не под силу разгадать Божий промысел, да это и ни к чему. Повиновавшись, Авраам собрался, взял сына и отправился. Три дня пути туда было, до назначенного места.

Человеческие жертвоприношения никому не казались диковиной в наших местах в те времена. В подарок своим богам язычники щедро резали на каменных жертвенниках мужчин и женщин, стариков и детей. Никто и представить себе не мог, что человеческую жертву можно заменить чем-нибудь равноценным, столь же приятным родовым идолам. Авраам повсеместно, на каждом шагу сталкивался с этой устойчивой традицией своих земляков.

Тропа к жертвеннику вела через песчаные края, а потом шла на подъём, в холмистую местность Мория. Подросток послушно попевал за отцом, шагавшим твёрдо. Край был безлюден, ничто не отвлекало Авраама от мысли о том, что предстояло ему выполнить в конце подъёма. А Ицхак, попевая, пытался заговорить с отцом, но в ответ встречал молчание патриарха.

Авраам, тяжело думая, не знал, о чём говорить с сыном, чудом явившимся на свет и обречённым жертвенной смерти на Краеугольном камне Мория. Говорить — о чём? О его безветренном детстве, полном отцовской заботы? О матери Сарре, которая умрёт, узнав? Любовь к Ицхаку наполняла сердце Авраама, там не было ничего, кроме разлившейся мёдом любви, не требовавшей слов.

Отворачивая лицо в сторону, Саня Гольдштейн отчётливо различал праотца Авраама с сыном на их дороге, ведущей к вершине горы. Приблизиться к идущим он не мог, он оставался лишь сторонним свидетелем их восхождения по тропе, заросшей по обочинам колючим кустарником, поднявшимся дыбом.

Внезапно Саня расслышал над тропой и над горой еле уловимую невнятную мелодию — и это присутствие музыки обрадовало его и сделало здесь почти своим. Напев не был ни бравурным, ни

унылым — а ровным и спокойным, без провалов и взлётов. В нём появлялись флейты и ударные — литавры, бубны, а скрипки, с досадой отметил Саня, не звучали. Необыкновенная музыка властно захватывала и влекла, как течение реки, и сулила финальное крещендо. Саня Гольдштейн озибался, выискивая источник звука, но ничего не замечал — и вдруг обнаружил себя на вершине холма, в кустарнике, вплотную окружившем Краеугольный камень с гладким плоским верхом, готовым принять жертву для заклания. В смятении продолжал Саня глядеть по сторонам, гадая, какая роль ему здесь отведена — камня, куста или птицы на кусте? Ведь не жертвы же... Не откладывая более, он желал тотчас же определиться со своим местом в этой сцене, предназначенной, непонятно покамест почему, стать главной в истории людей.

Тучи разомкнулись над Морией, и солнце пролилось на каменный жертвенник. словно пелена спала с глаз Сани Гольдштейна: связав сына, Авраам бережно укладывал его на каменное ложе, высланное дровами для костра. Правой рукой отец сжимал костяной черенок ножа с широким клинком. Из гущи кустов, из путаницы ветвей зачарованно пялился на свет ягнёнок, белый, как молоко. Саня Гольдштейн, наблюдавший со стороны, вдруг ощутил непреодолимый поворот картины — и вот уже он сам, неуверенно упираясь в землю четырьмя голенастыми ногами, наклонив голову с еле-еле пробившимися рожками, следит из куста за происходящим и безропотно ждёт развязки. Он знает, чем закончится игра, и весть, звучащая сквозь приглушенную мелодию, его не застаёт врасплох: «Никогда и никому, человек, не приноси в жертву себе подобного!» И сильный вихрь выносит ягнёнка из зарослей и опускает на жертвенный стол Камня, на хворост, приготовленный для костра, а подросток Ицхак, уже развязанный и освобождённый от пут, стоит сбоку от жертвенника, разминая затёкшие ноги. И последним взглядом видит ягнёнок, как Авраам заносит нож... Не приноси в жертву себе подобного!